

Д. Козлов

Отзывы советских читателей 1960-х гг.
на повесть А. И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича»:
свидетельства из архива
«Нового мира» (часть II)

После публикации «Одного дня Ивана Денисовича» дух перемен витал в воздухе. Как мы помним, в письме от 25 декабря 1962 г. А. Т. Твардовский сообщал А. И. Солженицыну, что большинство отрицательных откликов на повесть были анонимными¹. В архиве журнала большинство таких писем имеют подпись, так что, говоря формально, Твардовский мог быть неправ. Но несколько критических писем, действительно, не были подписаны вовсе, или же были подписаны неразборчиво и не содержали обратного адреса². Этих писем было немного, но их не следует игнорировать. Авторы писем ощущали, надо полагать, даже в большей степени, чем бывшие сотрудники МВД, что с публикацией повести менялась политическая обстановка: точка зрения бывших заключенных, казалось в тот момент, становилась господствующей, в то время как «охранительные» взгляды, прежде официальные, грозили перейти в категорию оппозиционных. Хотя авторы этих писем выражали резко ортодоксальные мнения, не содержавшие в себе ничего мятежного, они, тем не менее, сочли безопасным для себя остаться инкогнито. Возможно, это было правильное решение: то, что начиналось как «оттепель», содержало в себе потенциальное изменение всего политического климата.

Несмотря на ярость, с которой критики Солженицына реагировали на «Один день Ивана Денисовича», их письма невольно показывают, что повесть произвела на них большое впечатление. Даже если им того хотелось, читатели не могли игнорировать силу солженицынского пера. Павел Иванович Кольцов, ветеран трех войн — гражданской, финской и Великой Отечественной — и человек, проводший

Денис Козлов,
Ph. D. истории,
университет Дэлхаузи
(Галифакс, Канада).
denis.kozlov@dal.ca

семь лет в лагерях (1949–1956), на нескольких страницах своего письма ругал Солженицына за то, что тот не показал всю сложность репрессий, упустил из виду различия между категориями заключенных и, разумеется, написал не тем языком. Однако Кольцов был вынужден признать: «Я не могу не чувствовать силу этого произведения». Твардовский — а именно к нему обращался читатель — подчеркнул эту строку письма³.

Неспособность противостоять воздействию текста Солженицына раздражала. Временами автор того или иного письма явно терял самообладание, и его аргументация превращалась в истерический протестующий вопль. «Автор просто не знает советских людей, они совсем не такие, они не людоеды», взрывался в письме А. Столяров, партийный работник и ветеран войны⁴. «Кого воспитывать будет эта книга, что хочет выразить автор в этой книги, так понося и Советскую деревню, и тысячи советских людей, работников органов МВД и МГБ, которые не такие, они лучше, человечнее, они советские люди, не хапуги, взяточники, охотники за куском сала, он злобствует не на культ личности, а на всё», практически визжал в своем письме Михаил Сыкчин, парторг одного из совхозов Новосибирской области (авторская орфография сохранена)⁵.

Повесть убивала своими подробностями, поминутной хроникой существования человека в лагере. Юлия Пилипчук из Львова писала, что несмотря на многочисленные общие слова, сказанные в печати по поводу сталинских репрессий, повесть Солженицына «всех застала в расплохе (так в оригинале. — Д. К.)», шокируя подробными описаниями лагерной жизни: «Советская критика употребляла в более чем достаточном количестве слова “беззаконие”, “произвол”, “вопиющее”, “культ”, “деспотизм” а во многих высокообразованных и высокопоставленных лиц, после чтения повести, был вид вроде их уличили в антисоветской деятельности»⁶.

Читатели писали о «страшной правде» «Одного дня Ивана Денисовича». Некоторые полагали даже, что обсуждение репрессий в таком виде, в каком его предложил Солженицын, было опасным, если не смертельным для советского строя. 59-летний Андрей Иванович Федин, прошедший шесть лет в лагерях (1936–1942 гг.) и пять лет в ссылке, восхищался повестью, но при этом предлагал изъять ее тираж из обращения, поскольку такая правда была слишком опасна для неокрепших умов «наших детей и внуков»⁷. Заместитель главного редактора «Нового мира» Алексей Кондратович счел необходимым ответить Федину, утверждая: «Наивно думать, что от кого-то можно скрыть правду, тем более, такую грозную, как правду о 37-м годе. Напротив, лучшим залогом того, чтобы эта трагедия не повторилась, является открытое осуждение ее, полная правда о ней»⁸.

«Ой, не хочу этой повести!» — восклицала Людмила Соснина, женщина средних лет, отца которой в 1930-е гг. исключили из партии⁹. Ее брат и сестра были в заключении. После восьми лет в лагере брат, очевидно, был сослан, поскольку Соснина добилась разрешения поселиться вместе с ним. Пятнадцать лет она провела на севере, работая в лагерях в качестве вольнонаемной. Формально не являясь жертвой репрессий, эта женщина, тем не менее, безу-

словно пострадала от них, причем «пострадала» — слишком мягкое выражение: в сущности, человеку сломали жизнь. И, однако же, в своем необычайно длинном — сорок две рукописные страницы! — письме она выступала против мыслей, содержащихся в «Одном дне Ивана Денисовича»¹⁰.

Зачем были написаны эти сорок две страницы, полные грамматических ошибок, восклицательных и вопросительных знаков? «Трудно было Солженицыну писать эту повесть, но еще труднее мне было читать ее», — признавалась Соснина¹¹. Предметом восхищения для нее всегда был отец — большевик, альтруист, неутомимый работник, энтузиаст промышленного строительства, в 1930-е гг. отвечавший за работу большого завода и по ходу дела осваивавший инженерную специальность. Основная часть письма рассказывала не о лагерях и не о ссылке — письмо было об отце, о жизни семьи в 30-е гг.¹² Своей повестью Солженицын поставил под угрозу самое дорогое, что было у Сосниной — мир детства и отцовских идеалов, тот мир, который казался ей воплощением единства, цельности, счастья. Письмо ее в значительной степени было апологией тридцатых годов. Читательница защищала дух бескорыстного энтузиазма и преданности общему делу, который, по ее словам, царил в семье, и в котором отец воспитал ее. Да, она действительно верила тогда в существование врагов и вредителей — иностранных специалистов, старых инженеров царской выучки и др. Но важно то, что и эти образы врагов также некоторым образом составили часть ее теплых воспоминаний о прошлом¹³. Семья ее была разрушена репрессиями, но политические представления, лежавшие в основе этих самых репрессий, стали частью той ностальгической идиллии, которую Соснина себе создала. Надо думать, что идиллия эта помогла ей пережить пятнадцать лет на Крайнем Севере — пережить и выжить.

И однако же, письмо Сосниной было не просто примером ностальгических излияний. Читательница хотела разобраться, объяснить самой себе то, что на самом деле произошло в 30-е гг. — то, каким образом идеалы ее детства могли сочетаться и сочетались с мрачной действительностью эпохи террора. «Культ личности глубоко и сильно трогает меня лично», — писала она, — «без конца заставляет думать»¹⁴. Как была создана советская промышленность — на основе энтузиазма или, «может быть, железная воля культа и построила индустрию страны, помогла ее построить?»¹⁵ Почему ее отец, человек, преданный своему делу, был исключен из партии, брат и сестра были арестованы? «Простите за мое такое письмо, — заканчивала свое повествование Соснина. Я совсем не ищущу соболезнования. Ни обиды, ни зла нет. Думы, бесконечные думы. Это какая-то гигантская чушь! Я говорю о культе личности»¹⁶.

Повесть Солженицына спровоцировала протесты многих читателей в значительной степени потому, что автор показал первобытную, глубинную, ориентированную на выживание природу человека, в которой не оставалось места убеждениям, благородным устремлениям и высоким чувствам. Тем самым писатель нарушил многие каноны литературы, особенно социа-

листического реализма. Но Солженицын сделал и гораздо большее. Его повесть грозила подорвать и обесценить тот культурно обусловленный опыт понимания истории страны, в котором его читатели привыкли находить — или воспринимать себя — в качестве героев, мучеников, мыслителей, энтузиастов и т. д., то есть всех тех, кому в его картине мира не было места. Говоря об опыте террора, критики Солженицына, такие как Соснина, хотели бы вписать этот опыт в уже написанную официальную историю, объяснить недавнее массовое политическое насилие так, чтобы сохранить в неприкосновенности свое устоявшееся мировоззрение, убедить себя в том, что, несмотря на расстрелы и концентрационные лагеря, страна, тем не менее, всегда находилась на правильном пути.

Однако читательница Людмила Соснина, очевидно, начинала сознавать, что сделать это будет трудно — пожалуй, невозможно. После Солженицына уже нельзя было ограничиться «косметическими поправками» в учебниках истории, сохраняя главный их текст (именно это, впрочем, и произошло, но именно вследствие этого авторитет учебников в итоге оказался непоправимо подорван). Сила «Одного дня Ивана Денисовича» заключалась в том, что, вне зависимости от согласия или несогласия читателей с солженицынской интерпретацией террора, повесть эта заставляла читателей ставить под вопрос и пересмотреть историю страны в целом и их собственные жизни в контексте этой истории с ее главными, основополагающими ценностями.

Такой пересмотр был основной темой письма 70-летнего агронома Д. А. Вахрамеева — ветерана гражданской войны и члена партии с 1918 г. Арестованный в 1939 г. за то, что «восхвалял врага народа Троцкого», он провел в лагерях последующие семь лет. От него отказалась жена, погибла дочь. Прочтя «Один день Ивана Денисовича», который он назвал произведением «правдивым и написанным хорошим языком»¹⁷, Вахрамеев написал двадцатистраничное письмо в редакцию «Нового мира» с подробным изложением истории своего ареста и заключения¹⁸. Как и многие другие читатели, он не рассчитывал на публикацию письма и писал его затем, чтобы предоставить информацию будущему автору-исследователю, который когда-нибудь напишет историю эпохи террора. Как и многие другие, он полагал, что таким автором станет не историк, а писатель: «Следовало бы дать клич всем участникам событий: присылать свои воспоминания и “думы мои думы”... Литераторам обработать это “сырье” в художественную форму. ... Я не собираюсь в “литературный ряд” с “суконным рылом”. Но буду рад если получу извещение, что написанное мной кем-то использовано»¹⁹.

Сегодня историк, конечно, не может послать Вахрамееву такое извещение, но может интерпретировать его письмо и подобные ему послания как часть той истории, которую читатель хотел видеть написанной. Вахрамеев был одним из тех (немногих, следует признать) авторов писем, которые существенно переосмыслили свой личный опыт соучастия в массовом политическом насилии первой половины XX в. Пережив много дней, гораздо худших, чем

один день Ивана Денисовича, Вахрамеев вынес из лагерного заключения чувство собственной доли ответственности за историческую трагедию страны. В отличие от многих других читателей, он не рассматривал себя в качестве жертвы исторических обстоятельств, но прямо и мужественно отождествил себя с палачами: «В годы культа личности не за страх, а на совесть травил на собраниях “врагов народа”. А в тесном кругу сомневался (кукиш в кармане). Считал все волей партии (“Господи! Верую, Господи, помоги моему неверию!”). А потому не хочу плевать себе в лицо и считаю себя виновным наравне со Сталиным»²⁰. Пройдя через лагерь, старый большевик и ветеран гражданской войны Вахрамеев не захотел восстанавливать свое членство в партии. «Мы с тобой два берега у одной реки», — цитировал он популярную песню, глядя на портрет Сталина, все еще висевший у него на стене: «Из песни слова не выкинешь. И в партию из-за своей вины этой не хочу восстанавливаться. ... А на “усатого батьку” я зла не имею. Как на стихийное бедствие природы смотрю. Всем народом этот кошмар создан»²¹.

Немногие из авторов писем были готовы признать свою личную причастность к массовому политическому насилию столь откровенно и прямо, как это сделал Вахрамеев. Более распространенными были воспоминания о том, как читатели верили в существование «врагов народа», но перестали верить в тот момент, когда были арестованы их близкие или они сами. Но даже и при таком опосредованном признании читатели давали очень резкие характеристики современному им обществу²². Многие, как, например, экономист Алексей Филиппов из Казахстана или пенсионер Михаил Забелкин из Владимира-Волынского, писали об «эпидемии всеобщей подозрительности», которая охватила страну в сталинское время, и повторения которой они не желали²³. А когда 71-летний бывший заключенный С. А. Колендовский из Харькова, прошедший четырнадцать лет в лагерях (1937–1947 гг., 1951–1955 гг.), наконец достал и прочел истрепанный сотнями рук библиотечный экземпляр одиннадцатого номера «Нового мира» с повестью Солженицына, он заметил на полях карандашную надпись — одну из многих: «Почему лагеря и голод являлись неотъемлемыми (так в оригинале. — Д. К.) спутниками социализма?»²⁴ Колендовский был согласен с автором вопроса: в самом деле, зачем вообще были нужны эти лагеря? «Что? Нужна дезинфекция? Какими политическими и общественными средствами? Новой кровавой революцией? Против кого? Революция абсолютно и навсегда опротивела всем людям, ибо она весь “крещенный народ” жестоко обманула и заставила не один раз от голода и тифозных вшей умирать»²⁵.

Ответ на похожие вопросы о причинах массового политического насилия, о личной ответственности за него и о средствах его предотвращения в будущем пытался дать в своем письме 66-летний сельский учитель Иван Алексеевич Пупышев, который тоже провел в лагерях шесть лет (1949–1955 гг.). Он написал в «Новый мир» не одно, а два письма с откликами на «Один день Ивана Денисовича»: первое — в 1962 г., второе — в 1964 г.²⁶ Размышляя о происхождении террора, во втором письме читатель пришел к выводу о существовании «комплекса исключитель-

ности», под которым подразумевал претензии какого бы то ни было человека на безраздельное и неоспоримое владение истиной. Распространенные в революционную эпоху, свидетелем которой он был, а также в 20-е и 30-е гг., такие претензии более не убеждали его. Прочтя «Один день Ивана Денисовича», Иван Алексеевич вернулся во времена своей молодости, в те годы, когда зарождался общественный строй, впоследствии породивший лагеря и казни. По прошествии лет он пришел к выводу о бессмысленности мессианских заявлений и никчемности попыток нести человечеству свет и счастье, не считаясь с жертвами. Попытки эти, как он теперь был уверен, не могли принести людям ничего, кроме страдания²⁷.

Столь глубокое осмысление корней общественного зла в истории страны содержалось в письмах нечасто. И, тем не менее, письма эти были важны. Их авторы, подобно Вахрамееву или Колендовскому, принадлежали к старшему поколению, которое привело революцию к победе, а затем на протяжении многих лет защищало ее от врагов, настоящих или воображаемых. Для многих из этих читателей, по их собственным воспоминаниям, революция явилась благом, насущно необходимым явлением в истории России²⁸. Однако в начале 1960-х гг. стало понятно, что и эти люди, в буквальном смысле слова построившие советское общество, не были единой когортой. Взрыв общественного обсуждения террора, явившийся пиком «оттепели», появление в печати новых и страшных подробностей о государственном насилии побудили некоторых из таких читателей пересмотреть свою жизнь. Многие — пожалуй, большинство — продолжали защищать свое прошлое, и такая защита была вполне понятна и объяснима. Но были и другие, оценивавшие это прошлое и себя самих строго и трезво. В основном, повторим, люди эти не сожалели о том, что построили в своей стране. Но временами они спрашивали самих себя, не была ли цена построенного слишком высокой.

Подведем итоги. Будучи в значительной степени вызван публикацией повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», разговор о происхождении и природе массового политического насилия в советской истории находился в центре общественной и духовной жизни эпохи «оттепели». Разговор этот обнаружил значительную силу консервативных и остаточных политических представлений в умах многих людей. В то же время, обсуждение показало, что в обществе начался интенсивный процесс размышления. Рассмотрение только ранних 60-х гг. не является достаточным для анализа этого процесса, поскольку такой подход не позволяет проследить долговременные тенденции интеллектуальных перемен в обществе.

Таким образом, можно рассмотреть в подробностях то время, когда начинают происходить исторически важные перемены — можно утверждать, что это была первая половина 1960-х гг. Именно тогда, с появлением в печати литературы, посвященной проблеме террора и с началом открытого, подробного обсуждения этой проблемы язык и ментальность, сформировавшиеся в сталинские десятилетия, получили тяжелый — в итоге, быть может, смертельный удар.

Важной проблемой осмысления и объяснения государственного насилия в период «оттепели» было почти полное отсутствие радикальных сдвигов в политической системе и идеологии. Строй, породивший в стране массовое уничтожение человеческих жизней на политических основаниях, воспринимался многими людьми как незыблемый — и после XX, и после XXII съезда партии²⁹. В советской действительности — пожалуй, в еще большей степени, чем во многих других европейских странах, — открытое обсуждение трагического наследия первой половины XX в. противостояло долговременным интересам власти. Логичным в этом свете был поворот официального курса после 1964 г. на изображение сталинского времени как неотъемлемой и в целом позитивной стадии исторического развития страны³⁰.

В эпоху «оттепели» советский политический строй, равно как и образ мышления, культура, сформировавшиеся за предшествующие десятилетия, продолжали быть естественной средой обитания для многих людей. Охрана легитимности и прочности существующего порядка формировала слова и мысли не только государственных деятелей, но и рядовых членов общества — тех, кто читал «Один день Ивана Денисовича» и писал письма в «Новый мир». В своей новой роли историков, социальных психологов или политических аналитиков многие из них руководствовались подлинным желанием сохранить свой привычный мир в том огромном испытании, которым стало для них прямое столкновение с наследием террора. Настойчивая, временами доходящая до отчаяния приверженность существующему порядку оказывала большое влияние на словесное самовыражение авторов писем. Несомненно, большое значение в таком самовыражении имел исторический опыт. Выросшие в годы революции, гражданской войны и особенно Великой Отечественной войны люди часто сохраняли мировосприятие, сформированное их прошлым. Военизированное сознание и образ врага играли в таком мировосприятии значительную роль.

И, однако же, под воздействием прочтенного в начале 1960-х гг. — в первую очередь, «Одного дня Ивана Денисовича», — некоторые из этих людей начали переосмысливать исторический опыт XX в. и собственный опыт. Читатели активно и очень смело выражали свои мнения на бумаге, будучи готовыми к самому интенсивному и откровенному спору о прошлом. В результате такого переосмысления, они начали приходить к переоценке собственных ценностей, слов и поступков. С началом относительно гласного обсуждения трагедий советского прошлого, «оттепель» начала быстро «растопливать лед» существующих идеологических построений, нравственных норм и языковых формул. С течением времени «лед» становился все тоньше, и многие люди стояли перед выбором: провалиться и утонуть, или же достаточно быстро отыскать для своего духовного существования другую, более прочную почву.

Обсуждение «Одного дня Ивана Денисовича», как и некоторых других литературных произведений «оттепели», показало, что язык пропаганды и система этических ориентиров, сформировавшаяся в средствах массовой информации, были решительно непригодны для осмысления террора. Между тем, сотни и сотни читательских писем показывали, что это осмысление

было необходимо людям начала 60-х гг. Объяснение произошедшего со страной в XX в. требовало новой системы ценностей и нового языка общественного самовыражения. Сила и значение «Одного дня Ивана Денисовича» заключались в том, что книга Солженицына не только побудила своих читателей переосмыслить прошлое, но и предложила для этого новые нравственные и языковые средства.

Пожалуй, главный вывод заключается в том, что в начале 60-х гг. многие люди начали осознавать, до какой степени в основе советского общества доходило политическое насилие, и до какой степени сами они были сопричастны этому насилию. С одной стороны, такое осознание могло означать, что общество, построенное на терроре, не способно беспристрастно осмыслить опыт террора. Но с другой стороны, здесь же, возможно, находились корни и первые попытки отхода от принципов массового насилия. Осознание масштаба и подробностей террора вело к его нравственной переоценке и стремлению людей навсегда отделить себя от него.

¹ Российский государственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 1702. Оп. 9. Д. 81. Л. 73.

² Там же. Д. 1. Л. 112 (22 декабря 1962 г.); Д. 2. Л. 1 (27 декабря 1962 г.); Л. 63–63 об. (22 декабря 1962 г.); Д. 76. Л. 126–127 (20 февраля 1963 г.).

³ Там же. Оп. 10. Д. 78. Л. 59.

⁴ Там же. Д. 76. Л. 74 об. (15 января 1963 г.).

⁵ Там же. Д. 75. Л. 51 (9 февраля 1963 г.).

⁶ Там же. Л. 55 (1–5 апреля 1964 г.).

⁷ Там же. Д. 166. Л. 32–36 (7 марта 1964 г.).

⁸ Там же. Л. 29 (19 марта 1964 г.).

⁹ Там же. Л. 110 об. (25 марта 1964 г.).

¹⁰ Там же. Л. 109–129 об.

¹¹ Там же. Л. 110.

¹² Там же. Л. 111 об.–117 об.

¹³ Там же. Л. 111 об., 115 об.–116.

¹⁴ Там же. Л. 111.

¹⁵ Там же. Л. 111–111 об.

¹⁶ Там же. Л. 117 об.

¹⁷ Там же. Д. 73, Л. 80.

¹⁸ Там же. Л. 80–93 об. (24 декабря 1962 г.).

¹⁹ Там же. Л. 81, 81 об., 93.

²⁰ Там же. Л. 83 об.–84.

²¹ Там же. Л. 87 об.

²² См., например: Там же. Д. 2. Л. 18 (21 декабря 1962 г.); Д. 78. Л. 118 (23 февраля 1963 г.).

²³ Там же. Д. 2. Л. 82 (14 декабря 1962 г.). — См. также: Там же. Л. 39 (22 декабря 1962 г.).

²⁴ Там же. Д. 76. Л. 39 (20 января 1963 г.).

²⁵ Там же. Л. 40–40 об.

²⁶ Первое письмо см.: Там же. Д. 2. Л. 114 об. (22 декабря 1962 г.).

²⁷ Там же. Д. 166. Л. 42 об., 43–43 об. (12 марта 1964 г.).

²⁸ Подробнее см.: *Kozlov D.* «I Have Not Read, but I Will Say»: Soviet Literary Audiences and Changing Ideas of Social Membership, 1958–1966 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 7. 2006. N 3. Summer. P. 557–597.

²⁹ См., например: *Yurchak A.* *Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation*. Princeton, 2006. — Ср.: *Herf J.* *Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys*. Cambridge, 1997.

³⁰ См.: *Kozlov D.* *The Readers of Novyi mir, 1945–1970: Twentieth-Century Experience and Soviet Historical Consciousness*. Ph. D. dissertation. University of Toronto, 2005. P. 244–300.